

Повесть известного смоленского писателя и журналиста Владимира Королева «Переправа — ад и слава» рассказывает о судьбах защитников Соловьевой переправы на Днепре кровавым летом 1941 года. Прототипами большинства литературных героев произведения являются реальные участники великой войны и истинные патриоты Смоленского края. Один из главных героев повести — тульский учитель-политрук Семен Туликов. Соловьева переправа — особое место на Старой Смоленской дороге и древнем торговом пути «Из варяг в греки». Здесь во времена многочисленных войн русские ратники с честью, достоинством, отвагой и мужеством встречали захватчиков, рвущихся к Москве. Так было и в периоды польского нашествия в XVII веке, и во время Отечественной войны 1812 г., и в 1941 г. Коменданту Соловьевой переправы полковнику Александру Лизюкову еще 5 августа 1941 года было присвоено звание Героя Советского Союза. Повесть посвящена памяти Константина Симонова, столетие со дня рождения которого отмечалось в 2015 году. Его жизнь и творчество неразрывно связаны со Смоленщиной и Белоруссией, а его талант военного журналиста и писателя-баталиста ярко раскрылся именно в «сороковые роковые».

*В жару крапива кровью пахнет —
Вся скорбь Днепра дерет мне мозг!
И ждешь спиной, что взрыв шарахнет
И дыбом вздыбит новый мост.
Тот, что воздвигнут в этом веке
И бомб войны не слышал свист.
...Шуришат машины; как по треку
Летит рыбак-мотоциклист.
Живет река, живет Россия,
И переправе жить века!
Наверно, есть места красивей,
Но нет той сини в васильках!
И нет отваги, что пронзает,
Когда перила под рукой
Поют тебе, что Днепр знает,*

*Какого мужества покрой
Здесь берега крапивил кровью,
Штыком фашиста доставал
И языкастою свекровью
В бой до Победы матом гнал.*

Владимир Королев,
22 июня 2015 г.

ПРИВИВКА ИМЕНИ МИЧУРИНА

— Женька, повесь мою ножку на яблоню, пусть как следует проветрится! — отец, сидя на низенькой скамеечке, кряхтя, отстегнул башмак с вырастающей из него деревянно-кожаной голенью и кочергой, что вымешивают жар в летней печке, двинул протез на скатерку майского луга. — Пожалуйста, дочушка!

Женька светится. Ей пятнадцать лет. С радостью и интересом, который свойствен только юным хозяйкам, она шурует большой желтой из сухой сосны выструганной ложкой в чугуне (там зреет шурпа — папка пригласил на застолье в честь 9 Мая товарищей-фронтовиков) и тонкими пальцами (нет, это не от них подмигивают Ивану Максимовичу солнечные зайчики — их пускает сталистая полоска ножа!) кружавчиками снимает с литых картофелин параграфы шелухи.

Отец, только что любовавшийся стригущими (ни дать — ни взять — ласточка!) движениями милых-милых рук, вынужден отвлечь Женьку: готовка-готовкой, однако и бате минуту внимания можно, в конце-то концов, уделить!

Быстренько вытерев ладошки о передник, дочь взяла ходячую историю, как называет отец свой протез, и потащила его к дереву. Узкая спина ее напряглась, стала точеной, отчего бедрашки, раньше почти незаметные из-за циркульно легких и высоких ног, вдруг выпукло обозначились под веселой весенней юбкой.

— Тяжелый?

— Тяжелый, — хмурясь, ответила Женька, приспособившая пахучее от сырмятных ремней деревянное изделие к нижнему, самому толстому суку развесистой яблони, вскипающей иссиня молочной пеной.

— Шесть килограмм, — Иван Максимович аккуратно, по окружности, подогнул брючину, и его куца левая нога, устроенная на лавке как на лафете, коротким мануфактурно-пушечным дулом уставилась в сад. Два десятка тонких прутиков, посаженных осенью, разбежались по усадьбе, однако откровенной весенней силой радовала только старуха-яблоня: со скамейки, что была метрах в семнадцати от дерева, ее крона казалась непробиваемым шаром, а с дальнего края улицы — фрегатом, летящим под полным парусом в хрустальную синеву околицы (так думала Женька); терем, укрытый белым облаком, виделся отцу. Впрочем...

— Одуван, вылитый одуван! — однажды воскликнул, прежде чем подняться на крыльцо, Иван Максимович. И потом, возвращаясь с работы, всякий раз он задирает голову и независимо от поганости настроения и объема усталости произносил:

— Одуван!

Женька не поняла, что это за сорт яблоч-яблонь — «одуван», а потом звонко-звонко, так, что брови чуть к макушке не убежали, рассмеялась: «Одуванчик! Одуванчик, но только очень-очень большой. Одуван!»

Яблоня чудом уцелела в морозную зиму страшного первого года войны. Немцы, влекую вырубившие весь сад на дрова, столь могучее дерево, видимо, отложили «на потом», но, скорей всего, пожалели варвары свои тесаки, боясь выщербить их о казавшийся дубовым, угрожающе седой от инея кряжеватый ствол яблони. Однако война все-таки ужалила красавицу — она перестала дарить чудо-плоды. Сначала говорили: «Не яблочный год», но, когда за семь лет подряд дерево не разродилось ни

единым яблочком, Иван тихо взбеленился. Ведь он, вернувшись с фронта, первым делом посадил сад. Тогда, прыгая на одной ноге вокруг Женьки, держащей прутик, отец ссовывал в ямку землю своим протезным башмаком и приговаривал: — Вырастет быстро, есть за кем тянуться, на кого равняться! — имея в виду устоявшую в войну яблоню.

Саженцы взялись, однако зима сорок седьмого года жестоко обделила снегом деревню Шурубы, зато морозы насылала такие, что голая земля на огородах покрылась трещинами, в которых запросто скрывался штык лопаты, — и прутики вымерзли.

— Проклятая война, суки немцы! — матерился Иван, часто называя захватчиков не только суками.

Повзрослевшая Женька вновь держала прутики — и вновь вокруг нее, стараясь быть обстоятельным и ловким, передвигался батя, присыпая вымоченные в коровяке корни растений рыхлой, с розовыми энергичными червяками, землей:

— Без яблок народ оставили, отродье поганое!

Со второго захода прутики прижились, и по лету зеленые их листочки уже шелестели также, как и листья взрослых деревьев. Но урожая яблок от них надо было ждать и ждать! И вот тогда Максимыч вынужден был взять в оборот довоенную сластену.

— Пол-огорода высасывает, а проку никакого! — говорил он, хлебая холодник. Женька протерла через решето ошпаренный кипятком первый весенний щавель, добавив в раствор горсть творога и стакан сливок. Бате кушанье очень нравилось, однако он продолжал брюзжать: — Яловка*! Я-лов-ка! Ты вот так кислицу по бугоркам бегаешь — собираешь, а можно было б все на своих грядах посеять. Так нет — всю землю этой царице отдаем. Ждем. А она — ни в какую! Одна радость, что цветет красиво.

«Одуван», улыбнувшись, подумала Женька и спросила:

— Пап, добавки?

— Нет, голубушка, спасибо. Вот тебе деньги, сбегай, купи в сельпо килограмм семь песку.

— Папа, у нас сахара на два месяца запас... А соли — на год!

— Беги, пока я правильно думаю, а то будешь пуд покупать.

Женька взяла чистую наволочку, которую часто использовали как тару под крупы или муку, и понеслась в магазин.

Иван Максимович достал из комода бинты, вату, коробку пластилина, а из шкафчика — бутылку «Московской», налил стаканюгу и, перекрестившись на икону Николая Чудотворца, со словами: «Помоги, Господи!» — вылил водку в широкий рот.

Женьку отец, через плечо которого висела полевая сумка, встретил в сенцах и развернул в сад.

— А песок?

— Песок бери с собой... Где лестница?

— Под стрехой, с той стороны, ты там ее оставил, когда березу подкручивал.

Максимыч сходил за лестничкой, прислонил ее к яблоне. И снова направился за угол хаты.

— Пап, ты скоро? Мне уроки делать надо!

— Уроки? Да мы сейчас с тобой такой урок, урок ботаники, заварганим, что сам Мичурин с того света явится опыт перенимать. И «пятерку» поставит. Тебе. А мне — «пятерку» с плюсом!

Вторым рейсом батя притащил полведра березовика. Женька наблюдала за ним, как Буратино за папой Карло. Старик что-то затеял, и, похоже, действительно Ивану Владимировичу Мичурину следовало готовиться к тому, чтобы стать сегодня у Кириенковых ассистентом...

* Яловка — бесплодная корова.

Еще одним предметом, который был положен к подножию лестницы, оказалась воронка: ею чаще всего пользовались в сенокосную пору, когда наливали в фляжку находящийся в чулане, сдобренный жареным ячменем березовый квас, холоднящий даже в июле.

— Ну что, дочушка, готова поработать Мичуриным?

Женька поняла, что ей придется карабкаться по лестнице. Встав босой ногой на первую перекладину, девушка спохватилась:

— Пап, наволочку заberi. Мешает же!

— Заберу. Когда она пустой станет.

У Женьки опять брови полезли к макушке.

— Что, до сих пор не догадалась? А еще отличница! Ладно, так и быть: твоя задача — очень, ну очень-очень аккуратно засыпать песок в дупло.

Только теперь поняла Женька, что задумал батя. Летом громадная дыра в стволе яблони из-за густой зелени была не видна, зато черно-белой зимой зраком выхваченного из печки чугунок взирала она на исходящую дымами деревню и всякий раз напрягала девочку, когда та, придя из школы, вынуждена была оглядываться с крыльца: чугунок взгляд яблони упирался прямо в дверь коридора, которую отпирала Женька, и во взгляде том соединяли свою фиолетовую гипнозно-голодную суть и филин, и сова, и удав, и, наверное, даже кобра, хотя Женька ее ни разу и в кино не видела. Сейчас, когда разгулялась весна и рядом находился батя, ее охранитель и выдумщик, Женька страха не ощущала, наоборот, ей стало ясно, что и тому, зимнему, страху осталось жить минут десять, ну — пятнадцать, и все — и зимой ей никто не будет спину до пупка сверлить!

Уложились в двадцать минут. Женька, не просыпав мимо и щепотки, заправила дупло сахаром, через воронку вылила в шипящую дыру сок и запломбировала ее пластилином. Иван Максимович, вытягиваясь и становясь почти колодезным журавлем, протянул дочке бинт.

— Пап, тут и пластилина достаточно...

— Дочушь, рана, она и есть рана, хоть на вояке — хоть на деревяке, — и должна быть забинтована.

Женьке санитарить понравилось — и она, чтобы ровным слоем тугой марли закрыть все-все заусенцы и шрамы страдальницы-яблоньки, даже попросила второй, похрустывающий упаковкой фунтик. Поскрипывая внизу протезом, Иван Максимович, любуясь гибкостью и ловкостью Евгении, уже предвкушал огненную горечь водки, стекающей по пищеводу в честь завершения садовой операции имени Мичурина, как вдруг ему пришлось прервать свое перспективное смакование: Женька (Женька!) испуганно ойкнула. Кровь! Обо что-то острое, когда взялась по-быстрому завязывать на узелок бинт с обратной стороны ствола, она расшарахала ладошку!

Чтобы остановить струйку, Женька прижала пораненную ручонку к запеленутой кукле дупла.

— Быстрее слезай, у меня еще один бинт есть! — отец сильно-сильно заскрипел деревяшкой.

— Пап, там железяка какая-то торчит. Ее, наверное, вырвать надо...

— Железяка-железяка... Осколок это. От немецкой бомбы.

— Он... он как бритва!

— Не-а, трогать не будем. Он намертво врос. А вырвем — дыра будет, можем — это тебе не дупло — и не залечить! Ты же сама знаешь, что у меня под левой лопаткой шрапнелька сидит, а хирурги ее не трогают, бояться, что мне амбец будет.

Пока Женька осторожно спускалась вниз, держа ладошку на отлете, Иван Максимович смотрел на забинтованную шею яблони, на алое пятно, оставшееся на ее белой махровости, на палевою любопытную ворону, уместившуюся на крыше соседнего дома, на громадные карие глаза дочери и почему-то грустно кивал и кивал головой...

— Пап, ты что? Мне ни грамма не больно! Не волнуйся. Сейчас перевяжем — и все, смотри, кровь уже подсыхает...

— А знаешь ли ты, что мне тоже, когда ногу оторвало, сначала тоже было не больно... Пойдем-ка в хату!

В комнате Иван Максимович, смочив водкой клочок ваты, промокнул разваленную надвое мяготку и взялся за бинт.

— Папочка, я сама! — Женька, перестав кривиться от боли, чмокнула отца в гранатовую от танкового ожога правую щеку, своими порхающими руками — одна помогала другой — моментально обрядила ладошку в белую рукавицу.

— Видишь, ничегошно, даже красиво получилось. Как варезка у Снегурочки! Единственно, водкой воняет!

— Воняет?

— Еще как!

Иван Максимович хмыкнул — и разлил остатки «Московской» в стакан и рюмочку, из которой предварительно извлек подснежник. Рюмка стояла на подоконнике: вчера Женька устроила в эту граненую на одной хрустальной ножке ямку первый весенний голубоглазый цветок. И вот теперь пришла пора использовать рюмку по ее прямой принадлежности.

— Запах ей не нравится... — бурчал отец. — А инфекция? Ее изнутри надо убивать тоже.

— Пап, так что — пьем за дезинфекцию?

— Нет, дочушка, — за нашу Советскую Родину!

Женька опять захотелось поцеловать бату в шершаво-гранитную щеку, однако прижалась она к нему только после того, как сумела-таки, брезгливо скорчив рожицу, слотнуть эту противную-препротивную водку.

Обнявшись, они простояли минуты две. В широкой груди отца гулко стучало сердце, рубаха пахла яблоневым цветом, а крепкая шея казалась домкратом, не позволяющим поседевшей голове склоняться перед невзгодами и кознями судьбы.

— Шрап-нелька! Шрап-нелька! Шрап-нелька! — в висках у Женьки рыбкой билось это слово, и она очнулась только тогда, когда вновь увидела в руках бати хрупкую рюмку: чайной ложкой он лил под стебелек подснежника колодезную воду, черпая ее из своей любимой алюминиевой кружки, всегда стоявшей на отцовском краю стола.

МУЗА

...Было это три года назад. В первое после «мичуринской» прививки лето яблоня — увы — ничем не порадовала, и Иван Максимович ходил до самой осени с тяжеленным лицом, зато через зиму расцвела так буйно и бело-пламенно, как не цвела никогда — и к Яблочному Спасу почти вся лужайка у дома Кириенковых, дразнящая взгляд сочным зеленым колером, представляла собой громадный бильярдный стол, на котором было не счесть пропитанных медом многих-многих десятков медово-желтых шаров.

А еще через год яблоки стали главным украшением длинного-длинного свадебного стола, за которым кричали «Горько!» Женьке и ее избраннику, корреспонденту районной газеты Анатолию Цареву. Царев ушел на фронт семнадцатилетним пареньком: сразу после выпускного он вступил в комсомольский истребительный батальон, потом попал в минометное училище, командовал батареей, а заканчивал войну уже сотрудником «дивизионки»: в 43-м, сразу после форсирования великой славянской реки он рискнул отправить в редакцию стихотворение «Днепр позади — Берлин впереди», — его опубликовали, а вскоре за Царевым приехал инструктор политотдела дивизии с приказом генерала на руках о переводе комбата-минометчика в военкоры газеты «Суворовский натиск».

Демобилизовавшись, капитан Царев стал осваивать гражданскую журналистику. Просиживая в редакционном домике с восьми утра до восьми вечера, а часто и позже, правя неловкие заметки сельщиков и чеканя свои абзацы (теперь уже о трудовых подвигах фронтовиков, возрождающих израненные смоленские деревни), Царев выпивал с десяток стаканов круто, по-офицерски, заваренного чая и верил, твердо верил, что мышца газетной строки благодаря его неутомимости становится все более выпуклой и все более вдохновляющей земляков на возрождение и созидание. К тому же вечером, когда никто не отвлекал, у Анатолия начиналось святое время — он писал стихи. Но лирика не шла — его все еще душила тема фронта: мины, штыки, автомааты, призывы «За Родину! За Сталина!» появлялись чуть ли не в каждой строфе, а бывшему комбату хотелось лугов, черемухи, косынки, нежного взгляда и дерзких переборов баяна. «Неужели я так ожесточился в окопах?» — в очередной раз спрашивал себя Царев, швыряя в мусорную корзинку смятый в комок исчерканный лист, в котором «Огненные трассы вонзались в брюхо «мессершмитта»...

Женька принесла в редакцию рассказ «Одуван» — о том, какое чудо случилось с их яблоней, и Анатолий пригласил девушку на заседание «Колоса», литобъединения, которое он организовал при газете. Цвет литературной молодежи Речистого собирался в редакции по субботам, потом поэты и поэтессы шли в ДК на танцы, а Анатолий и Евгения оставались в накуренном и еще горячем от творческих споров редакторском кабинете. Веселиться в Доме культуры у них не получалось — неподалеку от танцверанды в сквере покоилось братское кладбище, где вместе с воинами, погибшими при освобождении поселка, были захоронены и останки их матерей и младших сестренек: гитлеровцы, отступая, согнали в колхозную конюшню детей, женщин и стариков, подперли ворота оглоблями, плеснули бензина на углы и под стрехи — и ударило в небо пламя с печальными каемками копоти на концах своих безжалостных оранжевых языков. Восемилетнюю Женьку свалил тиф, и неделей раньше ее на саночках увезла в другую деревню выхаживать бабушка Сима, мать отца...

Второй причиной непосещения ДК стали стихи, которые Анатолий не хотел, да и не мог читать на литобъединении. Лирика, подспудно копившаяся, вдруг ударила фонтаном, его брызги заиграли радугой, снявшей, наконец, с души фронтовой нагар. А радугу-то лучше не толпой созерцать! Какое же это созерцание! Другое дело, если рядом она, Муза, которая ловит каждое твое слово...

Максимыч одобрил выбор Женьки, но поставил условие — за родимый порог он дочь не отпустит: «Пока ты в доме — я жить хочу, и буду жить. Так что веди капитана к нам. Наш он, фронтовик, мы друг друга пойдем. Я вам мешать не буду».

Евгения, хоть безмерно и любила Ивана Максимовича, но в свою очередь спросила так, что у него на отсутствующей стопе засвербела пятка:

— А не спойшь ли ты мне, папа, Толю?

— Сто грамм наркомовских... Что от них молодому мужику станет!

— Так! — в голосе дочери Максимыч вдруг услышал звеняще жестяную интонацию Нины, Женькиной матери. Нина брала это ноту всегда, когда хотела — и на то у нее были основания — согнуть Ивана в бараний рог:

— Наркомовские пей один, а с Толей — только на День Победы, 23 февраля и в день рождения!

— А еще 5-го августа, когда Сталин Лизюкову Героя Советского Союза дал!

— Хорошо, — спохватилась дочка. — Да, папа, 5 августа — святое. Прости! Я тоже чокнусь с вами.

Не было б 5 августа 41-го, не случилось бы и исторического для всей планеты Земля и 9 Мая 45-го! Полутораногий старшина убедил в этом не только себя...

КИПЯЩИЙ ДНЕПР СОРОК ПЕРВОГО

День 5-го августа для Ивана Максимовича был таким же пьяным, горьким и счастливым, как и 9 Мая. В сорок первом году сержант Кириенков в качестве механика-водителя танка служил в подчинении полковника Лизюкова, коменданта Соловьевой переправы на Днестре, между Кардымовом и Дорогобужем. Потом фронтовая судьба определит танкиста Кириенкова сдерживать немецкую армию на Волоколамском шоссе, обожжет под Сталинградом, поставит на острие прорыва огненного копья во время Ленинградской блокады, а у Кенигсберга, когда они по ходу атаки будут натягивать порванную гусеницу, осколок отрубит ему ноги, — но обо всем этом Максимыч и через десять, и через двадцать, и двадцать пять лет будет говорить: «Семечки! Чепуха! Сивая неправда! П...здешь! Так страшно и так кроваво, как было на Соловьевой переправе, не было нигде! Кто прошел через нее, тот всю войну мстил немцу за нашу кровь, за побитых и утопших на этой Соловьевой переправе».

Женька много раз — и когда угощала батиных друзей-инвалидов за праздничным столом под яблоней, и когда отец, в одиночку, стоя перед Святителем Николаем, поднимал памятную стопку, — слышала: — Переправа! Соловьева переправа! Ад и слава — переправа! Ад — крошечный, а слава — горькая-горькая!

Позврослев, она пробовала что-то найти в книгах про этот тяжкий крест, что образовывали в разные века в годину испытаний, пересекаясь, великая славянская река Днепр, водный путь, и сухопутный тракт, Старая Смоленская дорога. Да куда там — сорок первый год! Отступление, миллионные потери. О битве под Москвой, когда немцев отбросили, — написано много и патриотично, о Ельне, — там гвардия родилась, немного, но есть, а о Соловьевой переправе — нигде и ничего! Да, события на Соловьевой переправе опишет в литературе Константин Симонов, Иван Стаднюк, Борис Васильев, коснутся их в своих мемуарах военачальники, но это будет уже в 60—70 годы...

Только, когда приехал из Гомеля в Речистое племянник полковника Лизюкова молодой доцент Иван Афонасьев, сумевший тактично, системно и обстоятельно расспросить отца о том, что творилось на переправе в июле-августе сорок первого, Женька, слышавшая весь разговор, влюбленная в газетных и книжных Зою Космодемьянскую, Александра Матросова и молодогвардейцев, поняла, сколько же их на самом деле много, таких героев, очень много, а о них ничего никто не знает. И не узнает, скорей всего. Как хорошо, что есть папка! Как хорошо, что он выжил! Как хорошо, что Афонасьев расспросил его о Лизюкове. Александр Ильич — герой, спасший тысячи жизней! И батя — герой! Был ведь огонь, была кипящая вода, летевшие со свистом бомбы — а они мосты строили и защищали тех, кто по этим мостам шел: раненые, женщины с детьми и — главное — части трех армий, части, которые, переправившись через Днепр, будут драться под Ярцевом, Вязьмой, Сычевкой, Ржевом, Можайском, Волоколамском, Тулой, измотают врага и отстоят столицу.

Отец рассказывал Афонасьеву:

— На переправе — киш-миш. Но это с виду, со страху. На самом деле там был порядок, который держал железной рукой Александр Ильич. Переправа работала день и ночь. Когда он спал, я не знаю. Ночью дремлю в танке, а он пошел в деревенскую церквушку (там что-то вроде штаба) операции по защите переправы разрабатывать, с разведчиками и саперами встречаться.

Только понтоны наведем — немец их разлупит. Так что придумал Лизюков — сделать подводный мост! Машины ЗИС-5 загнали в Днепр, рамами друг к другу прижали, кабины сбили — путь с берега на берег есть, а с воздуха летчики его не видят! Утром немцы прилетели, а бомбить нечего! Лизюков народ рассредоточил вокруг деревни, по кустам и рошицам, заставлял в других местах реки на всяких кортах и плотах плыть к правому берегу, чтоб от главной живой нитки самолеты уве-

сти. Немцы пройдутся вдоль Днепра, из пулеметов врежут, водичку вскипятят, а бомбить по-крупному им нечего!

Лизюкову, конечно, вредительство один приткий особист хотел приписать, однако Александр Ильич успел его к нам в танк пригласить. Они без меня там разговаривали, но полковник семнадцать месяцев в одиночке в Ленинградской тюрьме НКВД отсидел, Сталин его за год до войны вернул в армию — и Лизюкову после этого какие-то особисты уже были по хрену! Но потом он с нами поездил несколько часиков, чтоб понять, как Родину любить. Самолеты за танком тоже пробовали гоняться, но только я резко тормозить и виражи закладывать еще до фронта научился на танкодроме. Школа Лизюкова, он ведь мог машину заставить «яблочко» впрыснуть танцевать. И меня к себе взял, потому что я у него тоже кое-что успел перенять. А особист, конечно, шишек, когда я тормозил, набил!

Кто думает, что переправа — это дорога, мост и орава лезущих «скорей-скорей на тот берег» людей, то очень ошибается: это не переправа, а бардак! Лизюков до Соловьева десять дней руководил переправой на Березине под Могилевом — и на Днепре уже он распоряжался, отбирая для организации дела нужных ему командиров с боевым опытом, зная повадки немцев, расписание бомбежек, умея разговаривать с паникерами.

Александр Ильич с первых дней своего комендантства заставил всех, кто мог держать лопату, рыть окопы и щели в деревне и на обоих берегах Днепра. Зенитки маскировать, на штыри надевать колеса от телег, а на колеса ставить пулеметы, чтоб по самолетам сподручней было бы бить. Так что переправа не отгрызалась, а себя защищала! Да, народу с каждым днем добавлялось, и Лизюков этот поток разбивал на ручейки — в восемнадцати местах переходы были! Ясное дело, основные в Соловьеве и Ратчине, однако и в других точках войска переправляли.

С Лизюковым прибыл с Березины и его сын Юра. Шестнадцать лет, а танк водил почти как я! Юру Лизюков использовал больше как вестового. Парень легкий на ногу, отцовские приказы он быстрее радио куда надо доставлял. Когда Лизюкову дали в распоряжение «катюши», Юрка батареям позиции показывал. Я у него спрашиваю: «Ну, что, эта згорода на машине лучше танкового дула?» А он мне: «Танку — танковое, ракете — ракетное». Но видно было, что понравилось ему этими стрелами-букетами пулять, хотел к их комбату перейти служить, но Александр Ильич пообещал ему танковое училище. Юрка поехал потом в Саратов, это уже в августе, из-под Ярцева, уже когда нам с ним по медали «За отвагу» досталось, а Лизюкова командиром первой Московской дивизии назначили. Третьего и четвертого были последние дни переправы, из-под Смоленска все части двадцатой армии перешли у нас на другой берег, а пятого августа Рокоссовский сообщил Лизюкову, что товарищ Сталин звание Героя ему присвоил. А мне Александр Ильич пятого августа рекомендацию в члены ВКП(б) дал!

Лизюков мог бы переправу и еще поддержать, но тогда бы мы попали в окружение. А так еще на Вопи, обороняя Ярцево, Александр Ильич контрнаступление организовал, чтоб отвлечь немцев из-под Ельни и помочь Жукову взять город. Дивизия за Ярцево получила орден Красного Знамени. Нас потом на реформирование под Можайск отвели. Я еще тогда был о двух ногах и думал, как это из соловьевского пекла я без единой царапины выбрался! А вот Лукашу там руку отху... отхряпало. Евгения, как и отцовскую ногу, так и протез левой руки дяди Пети Лукашова тоже подвешивала на яблоню. Случалось это чаще всего на пике застолья, когда уже пропели «Майскими короткими ночами» и «Землянку» и вот-вот должны были грянуть «Варяга» или «Артиллеристы, Сталин дал приказ!». Лукаш делал знак Женьке (он всегда сидел крайним) — подойди, мол, срочно, дочка, выдвигал в ее сторону левое плечо, расстегивал пиджак и какую-то уздечку под рубашкой — и нате вам, девушка, примите, пожалуйста, сию двусуставную канделябру!

После этого Лукаш порывисто вставал и командовал:

— А теперь — «Артиллеристы!» Среди искалеченных, могущих сидеть за столом, и безногих, которым Женя на травку стелила домотканые половики, не было ни одного артиллериста, сам Лукаш — из саперов, однако эту песню любили так и пели так, что при словах «За слезы наших матерей, За нашу Родину — Огонь! Огонь!» с яблони хлопьями начинали слетать лепестки! Конечно, пару поддавал Лукаш — он дирижировал своей правой так, как не могли махать одним клинком Чапаев с Котовским вместе взятые!

Петр Егорович Лукашов, Лукаш, тоже знал Лизюкова: на параллельной переправе в Ратчине, в пяти километрах от Соловьевой, полковник расставил саперов с топорами по плавучему мосту вдоль матиц, длинных досок, которые вязали бревна по краям от берега до берега. Такой мост не очень-то разбомбишь, бревна как намыленные, и немецкие летчики стремились класть пулеметные строчки, чтоб распороть доски вдоль. Нет доски — нет связи, нет связи — концы бревен свободно болтаются — и нет переправы! Для самолета главное — разбить матицы, а саперы, стоящие по краям, дело уже вроде как второе, однако свинцовые струи сшибали ребят прямо в Днепр: не удалось немцу раскурочить звено-связку — получи, руссифешвайн*, остаток боезапаса! Кто уцелел — нашивает новые доски, кого унесла река — тому вечная память, кого ранило — тому повезло. Лукашу, выходит, повезло...

Лукаш — дирижер отменный, но лучший голос, очень душевный, не у него, а у Степана Ильича Егоренкова. Его привозит из Бердяева на майскую сходку жена, Анна Ивановна. Она работает в сельсовете секретарем исполкома, и на двоих с председателем им положен конь. Анна усаживает Степана на подводу, поправляет на голове кепку, чтобы козырек прикрывал от злого весеннего солнца незрячие глаза мужа, отдает ему в руки вожжи, а жеребчику командует: — Голубь, в Речистое!

Голубь знает все дороги округи и названия деревень: если бы мог говорить — сдал бы экзамен по местной географии! А вожжи в руках у Степана — для ощущения власти: мужик должен править, считает Анна.

У Степана тоже нет ноги.

— Но руки-то есть? Есть. Ухи есть? Есть. Нога, хоть и одна, есть? Есть. Кое-что, чуть повыше колена, у нас есть? Есть. Я у тебя, самое главное, есть? Есть! — Анна целует мужа в щеку, вытирает уголком косынки выкатившуюся бусину слезы. — Поехали!

...Лукаш наливает стаканчик Степану Ильичу и говорит:

— «Темную ночь», пожалуйста.

— Ты мне налил?

— Налил.

— А Нюре?

— Извиняюсь, сейчас-сейчас...

Каждую весну Лукаш почему-то забывает наполнить рюмку Анне Ивановне — и всякий раз Степан Ильич не торопится опрокинуть стопку, а проверяет, оказано ли законное внимание супруге. Как же он чувствует, что Лукаш «опять забыл»!

Но вот Егоренков встает, и, пока он поет «Только пули свистят по степи», Женя наблюдает за Анной Ивановной. Чем взрослее она становится, тем больше ей нравится эта женщина. Может потому, что на маму похожа? Да. А еще потому, что ухаживает за Степаном Ильичом совсем-совсем не по обязанности. Вот все эту песню любят, слушают внимательно. А внимательней и правдивей всех — тетя Нюра. Бернеса так не слушают!

Женька вспомнила, как в позапрошлом году застолье почти накрыла гроза. Из-за плотной марли одувана прозевали тучу — и громыхнуло! Мужиков — девять душ, у

* Швайн (нем.) — свинья.

всех протезы развешены на яблоне, вот-вот ливень со стола всю закуску смоем и будет не праздник, а потоп, а они: «Люблю грозу в начале мая... Наливай-ка по седьмой!»

— Слушай мою команду! — Анна Ивановна сказала это совсем не женским голосом — и фронтовики протрезвели. — Мокрые вы нам не нужны! Эй, двуногие, обнимите одноногих — и марш в дом. Однорукие, если закусывать собираетесь — берите миски с винегретом. Протезы пусть висят, они не простудятся! После дождя как новые будут! Женья, поднимаем Кузнецца...

Дядя Толя Кузнецов свою фамилию оправдывал абсолютно — работал кузнецом. И это при том, что обе ноги за ним уже не числились! Сейчас он, угнездившись на половине, играл с леворуким — правую руку «откусил» ему под Вязьмой Гудериян — пастухом Левшуновым «в ножички».

— Левшунов, тебе уже винегрета не осталось нести, за холодец отвечаешь! Бегом! Толя, одну руку закинь Жене на левое плечо, другую — мне на правое. Оп-па! Понесли!

Дядя Толя, собираясь на застолье, надел новый костюм в полоску, и папа, который придерживал дверь в сенцы, чтобы она не захлопнулась, крикнул с крыльца:

— Девки, вам где такой гарный пиджак обломился? Не уроните, а то вымажете!

Кузнец-пиджак, вися на крепдешиновых женских плечах, подал голос:

— У меня руки свободные, какую-нибудь тарелку дайте! Подсоблю...

Конечно, в доме такого приволья как под яблоней не было, однако и тесноты тоже. Хозяйки-хлопотуньи все успели перетащить: и остатки еды, и табуретки, и дорожки. С протезами связываться не стали — и так грохота хватает. Иван Евдокимович помог письменный стол Женьки придвинуть к обеденному, а из печки достали второй чугунок тушеной картошки.

Тетя Нюра всех бойцов устроила, рассадила, разложила и сказала:

— Ну вот, теперь можно за стол — и по седьмой! — и распахнула створки окна. Живой воздух мая снова обнял фронтовиков.

На свадьбе Егоренковы дуэтом спели «Спят курганы темные», и жених признался Женьке:

— Если бы тебя не было, я бы за Анной Ивановной приударил!

Большинство из отцовских друзей на свадьбу не пришли — навдумывали каждый кучу уважительных причин и предлогов, а на самом деле постеснялись, дескать, за столом будут все молодые и красивые, а мы — войной меченые-калеченые. Степан Ильич и Анна Ивановна тоже пробовали отказаться, но невеста взяла и у их дочери (ее тоже Женькой зовут) спросила:

— Хочешь ко мне на свадьбу?

— Хочу.

— Приглашаю. И папу-маму приводи.

Дядя Степа Женьку больше всех на свете любит, а тетя Нюра и сама хотела погулять по-молодому на все Речистое — вот и сидели они рядом со счастливым Иваном Евдокимовичем как самые близкие люди ему, Евгении, а теперь и Анатолию.

А поэтессы литобъединения на Толю глядели и песню орали: «Зачем ты в наш колхоз приехал, зачем нарушил мой покой?»